



Цецен Балакаев

# Отец Иакинф и Буддийский Пантеон

Книга знания

Цецен Балакаев

**Отец Иакинф и Буддийский  
Пантеон. Книга знания**

«Автор»

2026

## **Балакаев Ц. А.**

Отец Иакинф и Буддийский Пантеон. Книга знания /  
Ц. А. Балакаев — «Автор», 2026

Пекин, 1830 год. Келья Российской духовной миссии. Православный монах, учёный и переводчик отец Иакинф (Никита Бичурин) погружается в изучение буддийской космологии, чтобы перевести её для европейского читателя. Но чем глубже он проникает в священные тексты, тем явственнее слышит голоса самих богов – бурханов. К нему являются Хормоста – царь Небожителей, Асурин – вечный бунтарь, Бирузана – Держатель Венца, Ирлык – беспощадный Царь Закона. Каждый из них ведёт с монахом спор, который становится испытанием его веры, разума и души. Бичурин вынужден смотреть на мир глазами тех, кого привык считать язычниками, и находить в их учениях не тьму, а свет. Мистическая драма, философский роман, духовное путешествие – эта книга проведёт вас по семи золотым горам, четырём тибам и девяти гееннам буддийского космоса, где Восток встречается с Западом, а вера встречается со знанием. «Я ничего не понял. Но я всё принял» (о. Иакинф) Книга написана доступным читателю языком.

© Балакаев Ц. А., 2026

© Автор, 2026

# Цецен Балакаев

## Отец Иакинф и Буддийский Пантеон. Книга знания

Цецен Балакаев  
**Отец Иакинф и Буддийский Пантеон**  
Книга знания

Пекин, 1830 год. Келья Российской духовной миссии. Православный монах, учёный и переводчик отец Иакинф (Никита Бичурин) погружается в изучение буддийской космологии, чтобы перевести её для европейского читателя. Но чем глубже он проникает в священные тексты, тем явственнее слышит голоса самих богов – бурханов.

К нему являются Хормоста – царь Небожителей, Асурин – вечный бунтарь, Бирузана – Держатель Венца, Ирлык – беспощадный Царь Закона. Каждый из них ведёт с монахом спор, который становится испытанием его веры, разума и души. Бичурин вынужден смотреть на мир глазами тех, кого привык считать язычниками, и находить в их учениях не тьму, а свет.

Мистическая драма, философский роман, духовное путешествие – эта книга проведёт вас по семи золотым горам, четырём тибам и девяти гееннам буддийского космоса, где Восток встречается с Западом, а вера встречается со знанием.

*«Я ничего не понял. Но я всё принял...» (о. Иакинф)*

### ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА

В начале было Слово. Так учит нас Священное Писание. Но что, если Слово это – не один язык, не одна культура, не одна вера? Что, если оно – как свет, преломляющийся в бесчисленных гранях, каждая из которых отражает единую истину, недоступную глазу, привыкшему видеть только одну сторону?

Эти строки я посвящаю великому труженику, чья жизнь была подвигом познания. Никита Яковлевич Бичурин, инок Иакинф, начальник Российской духовной миссии в Пекине, был первым европейцем, который систематически перевёл буддийские тексты на русский язык. Его «Буддийская мифология» стала окном в мир, который оставался для Запада закрытым, как за семью печатями. Но за сухими строчками его переводов стояло нечто большее, чем учёность. За ними стояла тяга – неумолимая, почти болезненная, та самая, что движет подвижниками и мучениками науки.

Бичурин прибыл в Китай как миссионер. Он должен был обращать язычников в христианство. Вместо этого он начал их слушать. Он слушал ламайских монахов в их жёлтых шапках, читал их свитки, вникал в их «метафизику», переводил их «мифологию». И с каждым переведённым иероглифом, с каждым вникнутым санскритским термином, в его душе росло мучительное противоречие. Как совместить железные христианские догматы – с этим странным учением о перерождении? Как примирить личного Бога, требующего любви, – с безличным Законом Причины и Следствия? Как совместить Рай, который обещает вечность, – с Нирваной, которая обещает тишину?

Этот конфликт не был разрешён в его жизни. Может быть, он не может быть разрешён в принципе. Но сам факт, что Бичурин не отмахнулся от чужой веры, не заклеил её как «ересь», но попытался понять её, – это и есть главный урок его судьбы. Он шёл навстречу свету,



который светил с Востока, не боясь обжечься. Он знал, что истина не боится сравнения. Если она истинна – она устоит. Если она ложна – она рассеется, как дым.

В этом и заключается секрет непреходящей актуальности его трудов. Сегодня, когда мир разрывается на части религиозными, культурными и политическими барьерами, мы, как никогда, нуждаемся в бесстрашии отца Иакинфа. Мы нуждаемся в умении не только говорить, но и слушать. Не только учить, но и учиться. Ибо свет восточных учений, озаряя горизонты миллионов читателей, напоминает нам о том, что истина – не монополия одного народа или одной веры. Она – как воздух. Она везде. Нужно только открыть глаза.

Каждая глава этой книги – это шаг. Шаг в неизведанное. Сначала робкий, потом уверенный. Каждая встреча с буддийским божеством – это капля мудрости, которая просачивается в душу и меняет её, часто незаметно, но необратимо. Истина за истиной, слово за словом, – так рождается не новое учение, но новое зрение.

Александр Сергеевич Пушкин, наш величайший поэт, знал отца Иакинфа лично. В своих заметках он писал о нём с восхищением, называя его «странником, ушедшим в чужие миры и вернувшимся с сокровищами знаний». Пушкин понимал, что Бичурин делает нечто большее, чем перевод. Он строит мост. Мост между Западом и Востоком, между прошлым и будущим, между верой и знанием. И сегодня, перечитывая его труды, мы слышим голос поэта, завещавшего нам помнить: познание мира начинается с познания другого.

Эта книга – не учебник. Это – путешествие. Путешествие в самую глубину человеческого духа, где Христос и Будда, Хормоста и Ирлык, Рай и Нирвана встречаются не как враги, а как отражения одного и того же света. Я не претендую на окончательные ответы. Я лишь приглашаю читателя пройти тот же путь, что и отец Иакинф – путь сомнений, откровений и, возможно, просветления. Нирваны.

И в конце этого пути, как и в конце его жизни, мы можем сказать: *«Я ничего не понял. Но я всё принял»*. И в этом принятии – наша свобода.

Книга написана доступным читателю языком.

Автор.

### **Глава первая. О Пустоте, что не терпит лжи, и о первом явлении Хормосты**

*Пекин. Лето 1830 года от Рождества Христова. Келья Российской духовной миссии в северной части города, неподалеку от храма Юнхэгун, где ламы в жёлтых шапках творят свои странные обряды. Ночь. Дождь.*

#### **I.**

Свеча оплыла, и воск, стекая по медному подсвечнику, застыл причудливыми натёками, похожими на сталактиты подземных пещер. Отец Иакинф сидел неподвижно уже третий час, и только перо его, скрипящее по плотной бумаге, нарушало тишину. Снаружи, за толстыми стенами, глухо шумел ливень – тот особенный пекинский дождь, когда вода не падает, а обрушивается с неба сплошными струями, заливая мостовые, превращая улочки в мутные реки, а деревянные карнизы домов – в водопады.

– *Хогосон...* – прошептал монах одними губами, перечитывая только что написанное. – Пустота... И из неё воздух... Мандал... Смех, да и только.

Никита Яковлевич Бичурин, инок Иакинф, был человеком грузным, с крупным, волевым лицом, глубокими складками у рта и глазами, которые умели смотреть одновременно строго и печально. Он прожил в Китае уже четырнадцать лет – сначала в составе девятой духовной миссии, затем как самостоятельный учёный, которого Императорская Академия наук в Петербурге засыпала запросами, а Святейший Синод – подозрительными вопросами. Он был свя-

ценником и переводчиком, филологом и дипломатом, и в его груди уживались две души – одна, рождённая в селе Бичурино под Казанью, знавшая церковнославянский язык и железную догматику православия, и другая, ненасытная, которая с жадностью впитывала иероглифы, санскрит, монгольское письмо и странную, чужую, тревожащую мудрость Востока.

На столе перед ним лежала рукопись – его собственный перевод с монгольского языка трактата о буддийской космологии. Это была та самая работа, которую позже опубликуют в «Русском вестнике» под заголовком «Буддийская мифология». Бичурин перевёл уже три четверти текста, но сейчас, глядя на эти строки, чувствовал, как внутри него поднимается глухое раздражение.

*«В самом начале была пустота (хогосон); из сделавшегося из неё воздуха весьма крепко установился воздушный мандал...»*

– Пустота, – повторил он вслух, и голос его прозвучал глухо в сырой, пропитанной влагой комнате. – Какая же это пустота, если она не пуста? Если из неё делается воздух, и воздух этот становится твёрже камня? Это не пустота, это хаос, который пытаются выдать за творение.

Бичурин откинулся на спинку стула – старого, китайского, с выгнутой спинкой, инкрустированной перламутром. Кресло скрипнуло жалобно, как живое существо. Монах провёл ладонью по лицу, чувствуя, как отекают веки от бессонницы. Ему было пятьдесят три года, но он чувствовал себя на все семьдесят – усталым, битым жизнью, с постоянной болью в пояснице от долгого сидения и с пульсирующим в висках вопросом: зачем он всё это делает?

Он взял чистый лист и начал писать на полях перевода, своим мелким, убористым почерком, который знали ещё в академической гимназии:

*«Здесь ламаисты заблуждаются двояко. Во-первых, они смешивают пустоту как отсутствие сущего с пустотой как потенцией бытия. Во-вторых, они приписывают воздуху свойство творить, что свойственно лишь Богу. Хормоста, упоминаемый далее, есть не кто иной, как языческий Индра, а Сумбур – их Олимп, только квадратный, ибо на Востоке все стремятся к геометрической правильности, забывая о живоначальной силе Святого Духа...»*

Он остановился, перечитал написанное и покачал головой. Слишком резко, слишком полемично. В Петербурге, конечно, оценят ревность о православии, но здесь, в Пекине, он был не просто миссионером, он был учёным, а учёный должен быть беспристрастен, как кадило, в котором нет ни дыма страсти, ни жара гнева.

– Отец Иакинф, – сказал он себе с иронией, – ты похож на старого петуха, который нашёл чужое зерно и теперь кричит, что оно невкусное. А ты его хотя бы попробовал?

Но попробовать это «зерно» он не мог. Не мог потому, что был русским православным монахом, потому что за его плечами стояла Казанская семинария, Петербургская академия, епископы и синодальные чиновники. Каждое его слово, каждая строка, выходящая из-под пера, проходила через цензуру не только государственную, но и внутреннюю – той строгой, казанской веры, которую он впитал с молоком матери.

– Ересь, – выдохнул он, закрывая глаза. – Тысячелетиями введенная в систему, обряженная в парчу и золото, но всё равно ересь.

За окном вспыхнула молния, и на секунду келью осветило неестественным, белым светом. Бичурин вздрогнул – не от страха, а от неожиданности. Вспышка была настолько яркой, что он увидел каждую трещину на старом, почерневшем от времени потолке, каждую пылинку, висящую в воздухе, и даже своё собственное отражение в маленьком круглом зеркале, висевшем напротив.

В зеркале он увидел себя – усталого, с седыми прядями в бороде, с глубокими тенями под глазами. Но что-то в этом отражении было не так. Бичурин нахмурился и всмотрелся пристальнее.

Отражение не повторяло его движений.

Он сидел неподвижно, глядя на зеркало, а человек в зеркале... он чуть шевелил губами, как будто произносил беззвучную молитву. Или мантру.

– Господи, помилуй, – прошептал Бичурин, и в этот момент отражение улыбнулось – широко, насмешливо, совсем не по-монашески.

Монах вскочил, опрокинув стул. Зеркало качнулось на гвозде, но улыбка в нём не исчезла. Она становилась всё шире, пока не превратилась в беззвучный, ледяной хохот.

– Наваждение, – сказал Бичурин себе, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо. – От долгой работы. От сырости. Китайский климат. Надо отдохнуть.

Он подошёл к зеркалу и хотел снять его со стены, но в этот момент комната наполнилась густым, сладковатым запахом – смесь сандала, грозы и чего-то ещё, металлического, как будто воздух вдруг стал медью. Свеча погасла, но в келье не стало темно – наоборот, откуда-то из угла, от печи, где ещё тлели угли, пошёл свет, холодный и ровный, как свет луны в самый ясный день.

И тогда из этого света начал выходить человек.

Он выходил не из двери, не из окна – из самого воздуха, из той самой «пустоты», о которой писал Бичурин в своём переводе. Сначала появились очертания тела – огромного, почти под потолок, – затем золотые доспехи, сверкающие, как будто их только что выковали на небесной наковальне. На голове незнакомца покоилась корона, украшенная самоцветами, которые переливались всеми цветами радуги, и каждый камень был размером с кулак взрослого мужчины.

Но самое поразительное было в лице. Оно было прекрасным – той особенной, античной красотой, которую можно видеть на греческих статуях, но оживлённой, дышащей, с глазами, в которых горела вечность. Незнакомец был молод, но в его взгляде чувствовалась мудрость древних веков, и когда он смотрел на Бичурина, казалось, что он видит не одного человека, а целую вереницу его жизней – прошлых, настоящих и будущих.

– Ты потревожил меня, монах, – сказал незнакомец, и голос его прозвучал не снаружи, а прямо внутри головы Бичурина – густой, чистый, как звук колокола. – Ты сидишь в своей тёмной келье и пишешь о нас, о небожителях, как о мёртвых куклах. Ты смеешь называть меня языческим идолом.

Бичурин перекрестился – быстро, нервно, по привычке, которая не раз спасала его от ночных страхов.

– Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, – прошептал он. – Изydi, сатана.

Незнакомец рассмеялся – негромко, но с такой силой, что по стенам пошла дрожь, и со старой штукатурки посыпалась известь.

– Сатана? – переспросил он. – Интересно. Тот, кого вы называете сатаной, у нас зовется Марой – владыкой иллюзий, царём демонов, который искушает даже Будду. Но я не Мара, и уж точно не сатана. Я – Хормоста.

Бичурин замер. Хормоста... это имя он переводил всего несколько часов назад. *«Хормоста, царь небожителей, живущий в замке Содаросун...»*

– Ты не можешь быть Хормостой, – сказал Бичурин, стараясь, чтобы голос не дрожал. – Хормоста – это миф, порождение больного воображения язычников. Тебя не существует.

– Я существую, – ответил гость, делая шаг вперёд. Его доспехи зазвенели, как тысячи серебряных колокольчиков. – Я существую так же, как существует вера в тебя, монах. Или, думаешь, твоя вера во Христа имеет больше оснований, чем моя вера в закон кармы?

Бичурин попятился к столу, нащупывая рукой распятие, которое всегда лежало под бумагами. Пальцы нашли его – холодный металл, уже стёртый от долгого прикосновения.

– Отойди, – сказал он тихо, но твёрдо. – Отойди, или я... я буду молиться.

– Молись, – ответил Хормоста, и в его голосе послышалась странная грусть. – Молись своему Богу. Но разве Он не учил тебя, что не следует судить, да не судим будешь? А ты

судишь, монах. Ты судишь нас – тысячи лет нашей мудрости, нашей боли, наших поисков. Ты называешь нас грешниками, но разве вы, христиане, не такие же грешники?

Бичурин сжал распятие в руке и начал читать молитву – ту, что знал с детства, ту, что читал над умирающими, ту, что всегда давала ему силы:

– Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое...

Хормоста покачал головой, и в этом жесте было столько невыносимой вежливости, что Бичурин на секунду сбился.

– Зачем ты читаешь мне эту молитву? – спросил небожитель. – Я знаю её. Я знаю все ваши молитвы, монах, потому что я – Хормоста, а в моём Содаросуне хранится знание всех миров, и ваших в том числе. Мы не враги, мы просто... разные пути.

– Нет, – выдохнул Бичурин, и в голосе его прорвалась вся накопленная за эти годы усталость. – Нет, не разные. Ты – ложный путь. Ты – тот самый путь, который ведёт в погибель. Ваша нирвана – это смерть души. Ваше перерождение – это отрицание бессмертия. Вы не верите в воскресение, в вечную жизнь! Вы учите, что жизнь – это страдание, и надо от неё отказаться. Но Христос сказал: «Я пришёл, чтобы имели жизнь и имели с избытком»!

Хормоста молчал. В его золотых доспехах мерцали отблески холодного света, и лицо его, прекрасное и вечное, вдруг стало печальным.

– Ты думаешь, мы не знаем, что такое страдание? – тихо спросил он. – Ты думаешь, мы бежим от жизни, потому что боимся боли? Нет, монах. Мы принимаем её. Мы говорим: «Страдание есть, у страдания есть причина, у страдания есть конец, и есть путь к этому концу». Ты назвал это отрицанием? Я называю это мужеством.

Он подошёл к столу и провёл рукой над бумагами. Рука его не касалась листов, но от неё исходило такое тепло, что чернила начинали мерцать, как живые.

– Ты написал, что я, Хормоста, «совокупляюсь с дочерьми небожителей», что я «выезжаю на войну на слоне постояннойшем», что я «пью нектар». И ты думаешь, что это делает меня низким, плотским, похожим на зверя. Но скажи мне, монах, разве твоя вера не говорит, что человек создан по образу и подобию Божию? Разве ты не имеешь тела, разве ты не ешь, не спишь, не любишь? Почему же ты позволяешь себе то, что запрещаешь мне?

Бичурин хотел ответить, но слова застряли в горле. Хормоста задал вопрос, на который у него не было готового ответа. Ведь действительно, почему? Почему он, православный монах, может пить вино, есть хлеб и называть это причастием, а Хормоста, царь небожителей, пьёт нектар и называется грешником?

– Потому что ты не веришь в Единого Бога, – наконец сказал Бичурин. – Ты веришь в себя, в свои силы, в свою карму. Это путь гордыни.

Хормоста покачал головой, и в его глазах мелькнула искорка – не гнева, а скорее сострадания.

– Ты ошибаешься, монах. Я не верю в себя. Я знаю, что я – лишь функция, лишь роль, которую я играю в этом великом колесе. Мой Содаросун, мой трон, мои слоны – всё это не моё. Это дхармы, которые проявляются через меня. Я не творец, я хранитель. Я храню порядок, чтобы Асурины не разрушили мир, чтобы драконы не вышли из морей, чтобы люди могли рождаться и умирать в своем невежестве, пока не проснутся.

– Проснутся? – переспросил Бичурин с горькой усмешкой. – Вы называете это просветлением? Это смерть. Вы хотите умереть, чтобы не родиться снова. Это трусость.

Хормоста внезапно приблизился – так быстро, что Бичурин не успел отшатнуться. Небожитель склонился над ним, и от его дыхания повеяло жаром, как от жерла вулкана.

– А ты знаешь, что такое умереть? – спросил он. – Ты, который верит в вечную жизнь? Ты умрёшь, монах, и пойдёшь к своему Ирлыку – царю закона, который запишет все твои дела на белой и чёрной доске. И если белых дел будет мало... что тогда? Ад? А что, если ада нет? Что,



если есть только круговорот – бесконечный, безжалостный, и ты, Никита Яковлевич Бичурин, будешь рождаться снова и снова, пока не поймёшь, что нет ни ада, ни рая, есть только Путь?

Бичурин почувствовал, как холодный пот стекает по спине. Он хотел возразить, хотел сказать, что Хормоста – всего лишь бес, пришедший искушать его, но что-то в глазах небожителя было таким чистым, таким прозрачным, что монах не мог найти в них лжи. Это была не ложь. Это была другая правда, чужая, непонятная, но от этого не менее реальная.

– Зачем ты пришёл? – выдавил из себя Бичурин. – Зачём ты явился мне, если я для тебя всего лишь – монах, неверующий в твоё учение?

Хормоста выпрямился, и его фигура, и без того огромная, казалось, выросла ещё на локоть.

– Я пришёл, потому что ты переводишь наши тексты, – сказал он. – И ты переводишь их неправильно. Не в словах ошибка – слова ты передал верно. Ты ошибся в духе. Ты перевёл, что «в начале была пустота», но ты не понял, что пустота эта – не ничто. Это – свобода. Это – отсутствие привязанностей. Это – не хаос, а чистый, незамутнённый потенциал. Ты перевёл, что мы, небожители, воюем за нектар, но ты не понял, что нектар – это мудрость, которую мы защищаем от невежества. Ты перевёл, что мы сидим на тронах и властвуем, но ты не увидел, что мы – такие же слуги, как и ты, только слуги другого Господина.

– Какого? – спросил Бичурин, почти шёпотом.

– Закона, – ответил Хормоста. – Закона Причины и Следствия. Мы не выше этого закона. Мы его часть. И мы не просим твоего поклонения, монах. Мы просим только одного – не искажать нас. Если ты напишешь о нас правду, ты поможешь и своим, и чужим. Если ты напишешь ложь – ты продлишь страдания всех, кто живёт в неведении.

Бичурин молчал. Он смотрел на Хормосту, на его золотую корону, на его грустные глаза, и впервые за долгие годы чувствовал, что его привычный, выстроенный веками христианский мир даёт трещину. Не потому, что он переставал верить в Христа, а потому, что начинал видеть в этом небожителе не врага, а... брата. Заблудшего, грешного, но брата.

– Я не могу... – прошептал Бичурин. – Я не могу принять ваше учение. Я не могу сказать, что ты прав.

– И не надо, – ответил Хормоста, начиная таять в воздухе. – Я не прошу тебя принимать. Я прошу тебя уважать. И тогда, может быть, ты увидишь, что за словами «Хормоста» и «Содаросун» стоит не идол, а человек – такой же, как ты, ищущий, страдающий, надеющийся. Мы не враги, Никита. Мы просто – разные листья на одном дереве.

Свет померк. Запах сандала и металла рассеялся. Свеча зажглась сама собой, и Бичурин остался один в своей келье, с дрожащими руками и бешено бьющимся сердцем.

Он посмотрел на бумаги. На них лежал золотой песок – тонкий, как пыльца, мерцающий в свете свечи. Бичурин провёл по нему пальцем, и песок рассыпался, проникая в поры бумаги, оставляя на листе тонкие, почти невидимые линии, складывающиеся в круг – мандалу.

Монах долго смотрел на этот круг, а потом, дрожащей рукой, взял перо и на полях своего перевода, там, где было написано «В самом начале была пустота», вывел новую фразу:

*«Пустота сия, как я теперь разумею, есть не что иное, как свобода, данная твари, дабы она могла избрать путь свой. Но свобода без Бога есть ничто, а посему пустота сия есть творение Божие, явленное в иной ипостаси. Я не приемлю учения о перерождении, но я приемлю право человека искать истину, даже если путь его отличен от моего.»*

Он отложил перо и посмотрел в окно. Дождь стихал. На востоке, за пекинскими стенами, занимался серый, туманный рассвет. Где-то вдалеке запел петух, и ему ответил колокол ближайшего храма – тот самый, где ламы в жёлтых шапках читали свои мантры.

Бичурин перекрестился – широко, привычно – и тихо сказал:

– Господи, прости меня за мою гордыню. Я думал, что я просвещаю мир, а на самом деле мир просвещает меня. Но я верю в Тебя, Господи. Я верю в Твою истину. И я не предаю Тебя, даже если Хормоста явится мне ещё тысячу раз.

Он встал, подошёл к иконе Богородицы, что висела в красном углу, и зажёл перед ней лампаду. Маленький огонёк вспыхнул, осветив лик святой, и Бичурин почувствовал, как мир – его старый, привычный мир – возвращается к нему.

Но золотая пыль на бумаге осталась. И в ней, как в зеркале, отражалось что-то, чему он не мог дать имени.

Это была пустота. Или полнота. Или то, что было до начала всех слов.

– Хогосон, – прошептал Бичурин, пробуя это слово на вкус. – Пустота. Или... свобода.

Он вздохнул и сел за стол, чтобы продолжить работу.

Дождь за окном стих окончательно, и первый луч солнца, пробившись сквозь тучи, упал на старые, исписанные иероглифами и латиницей бумаги, освещая путь, который ему предстояло пройти.

## **Глава вторая. О горе Сумбур, четырёх тибрах и о яблоке, упавшем в воду**

*Пекин. Три дня спустя. Келья Российской духовной миссии. Послеполуденная жара, от которой плавится воздух, и мухи, умирающие на подоконниках.*

### **I.**

Отец Иакинф не спал уже вторые сутки. Не потому, что не мог – тело его ныло и просило отдыха, веки тяжелели, как свинцовые пластины, – а потому, что боялся. Боялся закрыть глаза и снова увидеть то, что видел три ночи назад: золотые доспехи, корону из самоцветов, глаза, в которых горела вечность. Хормоста явился ему не как призрак, не как плод больного воображения, а как *реальность*, более плотная и осязаемая, чем этот дубовый стол, чем эти стопки бумаг, чем даже распятие, которое он сжимал в руке, читая молитвы.

Он боялся, что если уснёт, то проснётся уже не в Пекине, а где-то на вершине Сумбура, среди семи золотых гор и увеселительных морей, где боги пьют нектар и воюют с демонами. И что самое страшное – он боялся, что *захочет* там остаться.

– Это искушение, – шептал он, сидя за столом и перечитывая второй раздел перевода. – Чистое, плотское искушение. Индра, он же Хормоста, он же царь небожителей – это классический бесовский образ. Он предлагает мир, покой, знание, но за этим стоит пустота. Вечная, бесконечная пустота.

Но слова его звучали неубедительно даже для него самого.

Второй раздел манускрипта был посвящён космологии – той странной, почти безумной географии, где горы имеют квадратную форму, где океаны солёны, а земля держится на воздушном мандале, твёрдом, как алмаз. Бичурин перечитывал эти строки снова и снова, пытаясь найти в них логику, систему, тот самый «скелет» восточной мысли, который можно было бы разобрать и описать для европейского читателя.

*«Онный воздушный мандал есть основание мира... На нём, когда шёл дождь из златосердечных облаков, установилось нижнее море; когда вода сия была движима воздухом, то установилась золотая земля, как на молоке сметана...»*

– Как на молоке сметана, – повторил Бичурин вслух и горько усмехнулся. – Эпитет, достойный пастуха, а не философа. Они смешивают высокое с низким, небесное с земным, и выдают это за откровение. Где здесь величие? Где здесь тот самый «свет разума», о котором пишут их апологеты?

Он взял перо и начал писать комментарий – резкий, саркастичный, чтобы заглушить внутренний голос, который шептал: «А что, если в этой простоте есть мудрость? Что, если мудрость не всегда должна быть сложной?»

*«Сии ламаистские построения суть не более чем детская попытка объяснить мироздание через аналогии с привычным бытом. Златосердечные облака – плод воображения, рождённого из созерцания дождевых туч. Златая земля, плавающая на молоке, – проекция представлений о маслоделии. Всё это могло бы быть наивным фольклором, не претендуй они на статус религиозной догмы...»*

Он остановился, перечитал написанное и почувствовал пустоту в душе. Не ту, о которой писали буддисты, а ту, которая возникает, когда ты долго споришь сам с собой и понимаешь, что твои аргументы – всего лишь аргументы, а не истина.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.